

# ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

В июле 1955 года краевым отделением Союза писателей СССР проводился семинар молодых литераторов Ставрополя. Были обсуждены произведения 24 авторов. В этом номере альманаха печатаются рассказы участников семинара В. Филипенко (Пятигорск), М. Силенко (Ставрополь) и поэма М. Максимова (Черкесск).

*В. К. Филипенко*

## О САМОМ ОБЫКНОВЕННОМ

### I.

Когда члены президиума заняли свои места и председатель собрания секретарь партийной организации — начальник цеха Акинфиев объявил, что о работе подшефного колхоза расскажет жогарь Тарасов, у двери клуба послышался шум. Председатель постучал карандашом по графину с водой.

— Тише, товарищи... В чём там дело?

— Да это Гаврилыч пришёл, — сказал кто-то.

Между стульями пробирался тот, кого называли Гаврилычем, — невысокий, плотный, с седыми усами и гладко выбритым подбородком, не согнутый годами старик лет семидесяти.

— Это я, Фёдор Романович, — сердито заговорил старик. — Это как же получается? Раз сторож, так можно его и на собрание не приглашать? Я ж, как-никак, пятьдесят лет жогарем проработал...

Председатель сдержанно улыбнулся.

— Да ведь тебе сейчас на смену, Гаврилыч, — сказал он, зная, что старик любит попенять на недостаточное уважение к нему. — Вот мы и решили тебя не беспокоить.

— Не беспокоить — дело одно, а собрание — другое.

Гаврилыч сел в первом ряду, расправил усы и сказал: — «Можно начинать».

— Прошу, Иван Петрович.

На сцену вышел Тарасов, одёрнул гимнастёрку, кашлянул:

— Был я, значит, в колхозе, над которым мы, то есть наш завод, шефствуем. Ходил по степи и плакал... Ну, не ревел белугой, а так... Про себя плакал... Хлеб там, товарищи, стоит в рост человека! Где прошлый год убирали по пятнадцать центнеров с гектара, этот год убирают по двадцать!

— Ну, хватил! — недоверчиво сказал садчик Андрей Жуков.

— А о чём же плакал, Иван Петрович?

— Вот тут-то и заковычка. Шефствуем мы над этим колхозом? Шефствуем. Растёт колхоз? Растёт. А мы как прошлый год снимали с метра двадцать пять килограммов извести, так и этот год снимаем. На месте стоим! Ни тпру, ни ну! Вот оттого я и плакал... От стыда плакал...

— Да-а, — обескураженно вздохнул кто-то. — Действительно заковыка.

— Люди стараются, — схватился вдруг со своего места Гаврилыч. — Люди стараются. А мы что делаем? — Он в сердцах провёл по стене рукой и показал присутствующим белую от извести ладонь. — Вот что мы делаем! Это не продукция, а...

— О чём я и говорю, — подтвердил Тарасов. — Мы, конечно, не строим разных гигантских машин. Незаметное, можно сказать, наше дело — выжигать известь. Но ведь везде сейчас в стране строят... Известь, то есть строительный материал, на вес золота...

Выговорив это, Тарасов глубоко вздохнул.

— Не то главное, кто сделает почин. Я ли, Гаврилыч, или Фёдор Романович. Или же, скажем, мой ученик жогарь Костя Седугин... Вот тут тоже вопрос: Костя Седугин за последнее время стал что-то плоховато работать. Хуже, чем работал до этого... Может, голова закружилась от удач? А, Костя? Молчишь? Подумай. Не нравится мне такая твоя работа. Через пень-колоду тянешь... Ну вот. Я и говорю, что не то главное, кто сделает почин. Главное — хорошее дело сделаем и скажем людям — берите, пользуйтесь! Вот что главное. А если, дорогие товарищи, приедут к нам колхозники — что им скажем? Осрамимся мы перед людьми.

Тарасов кончил, медленно протиснулся среди сидящих в президиуме к своему месту. В зале зашумели, слова Тарасова задели за живое. Поднялся Акинфиев.

— Товарищи! — сказал он. Зал затих. — Иван Петрович говорил о том, о чём давно стоило поговорить. Успокоились мы, друзья, на наших успехах, застыли. Даём план, переползаем немножко через норму — и кажется нам, что так и должно быть. А оказывается, так не должно быть. Надо подумать над тем, как улучшить нашу работу.

— Например, — сказал Гаврилыч, наставляя к уху ладонь, чтобы лучше слышать.

— Мы советовались с товарищами, когда только Тарасов вернулся из колхоза. И пришли к выводу: нужно переменить метод садки известняка в печи. Надо перейти к колосниковой садке. Это даст возможность увеличить выпуск продукции в два раза, температуру обжига поднять до полуторы тысячи градусов, что улучшит качество извести.

— Подождём свод, — махнул рукой Жуков. — Я думал что другое. От такой температуры обязательно потечёт свод.

— Нет, не потечёт! — почти закричал Гаврилыч. — Не потечёт! Свод — он что? Он имеет два слоя огнеупорного кирпича. Выдержит. Где какой, кирпич расплавится — так это садчики сразу заметят. У тебя, Жуков, когда будешь садить камень, голова не отвалится осмотреть свод. На кой же чёрт, я извиняюсь, тогда и садчики, если они за сводом не будут наблюдать.

— Если бы что-нибудь новое, — стоял на своём Жуков. — А колосниковая садка давно известная...

— Старое, — согласился Акинфиев. — Но мы это старое используем по-новому, по-советски. На Тучковском комбинате получается и у нас получится. Требуется эта садка габаритного камня — он у нас есть. Требуется для своего обжига уголь «семечку» — он у нас есть. Требуется мазут — он у нас есть.

...Собрание решило: заводу перейти на колосниковую садку.

## II.

— Костя, — позвал Жуков Седугина, — иди-ка сюда.

Невысокого роста, полный, с короткими и сильными руками Жуков подмигнул Косте.

— Чего ты?

— Слыхал? Колосниковая садка. Полторы тысячи градусов! Кто за, кто против? Решили.

— Ну и что же?

— План выполняем? Чего ещё? Мудрят. В передовые лезут. А ну их... Пойдём... По полуторке с прицепом пропустим.

Разговор этот состоялся тут же в клубе, после собрания. Костя неприязненно посмотрел на Жукова. Упрёк Тарасова задел, что называется, за живое. Хотелось что-то исправить, в чём-то оправдаться, а тут этот Жуков с выпивкой. Костя хотел было грубо ответить ему, сказать что-нибудь обидное, ядовитое, но вдруг заметил Веру Глобцеву и забыл о Жукове.

— Вера, подожди, я провожу тебя...

И сложенные венчиком чёрные косы, и длинные пушистые ресницы, за которыми прятались карие глаза, и ровный, чуть-чуть вздёрнутый нос, и по-детски припухлые небольшие губы — всем этим действительно можно было залюбоваться.

Вера равнодушно посмотрела на Седугина.

— Ни к чему это, Костя. Я же просила тебя, не приставай ко мне, не буду я с тобой дружить, не буду, Костя. Оставь ты меня.

Худенькая, стройная фигурка девушки исчезла в темноте.

К горлу Кости подкатился противный тёплый комок.

— Не хочешь и не надо, не очень-то и нужно! — со злостью крикнул он в ночь. — Подумаешь!

Было до слёз досадно, что Вера ушла, жалко себя. И вдруг Костя крикнул:

— Жуков?

— Здесь я, Костя, здесь!

Жуков ухмыльнулся и опять подмигнул Седугину:

— Ушла?

— Ушла...

— Пусть... А ты за юбку не цепляйся... Сколько хочешь. Ей-богу! Не таких найдёшь...

— Ну, это уж не твоего ума дело, кого буду искать. Тебя не спрошу.

— Фью-ю! — свистнул Жуков и ничего не сказал.—А тебя-то на собрании Тарасов того, подкузьмил. Одной рукой конфетку дал, а второй — стеганул плетью, да хорошо стеганул...

— А чего Тарасову? — разозлился Костя. — «Работать стал хуже». Не могу же я всё время рекорды ставить. «На техминимум чего не ходишь?» А что я там не видел? Я эту науку вдоль и поперёк прошёл, как свои пять пальцев знаю. Я её в труде всю проверил. Моё теперь дело маленькое — жги известь. Если нужно будет, я ещё покажу какой есть жогарь Костя Седугин.

— В самую точку! Язык без костей, трепаться всякий может, а ты делом докажи.

— Если надо будет — я докажу.

— Докажешь, душа ты моя. Докажешь, Костя. А сейчас давай, шагай. Полуторка с прицепом!..

### III.

Тёмная южная ночь. Спряталась за горы луна. Фиолетовая чаша неба опрокинулась над сонной землёй и мерцает далёким холодным светом звёзд, которые словно стараются рассмотреть, что творится сейчас здесь, внизу. А здесь, внизу, поправляя за плечами винтовку, Гаврилыч обходит территорию завода. Около ног трётся Мальчик — маленькая собачонка, стриженная под пуделя. Она то забегает вперёд, то, чего-то испугавшись в темноте, жмётся к ногам хозяина.

— Эх ты, сторож, — добродушно ворчит Гаврилыч. — Трус ты. Вот ты кто... Ну, ну, чего жмёшься?

Ночными дежурствами привык Гаврилыч разговаривать с Мальчиком, и ему кажется, что собака понимает его. И действительно, услышав знакомый голос, Мальчик крутит

хвостом, отбегает немного, настораживает уши и вдруг захлёбывается сердитым лаем, переступая с ноги на ногу и задирая кверху морду.

— Давай, давай, нагоняй страху...

Покашливая, медленно идёт Гаврилыч. Прямо перед ним, закрыв полнеба, высится громада пятиглавого Бештау. В темноте Гаврилыч узнаёт очертания всех её пяти вершин. За спиной старика скрыт темнотой приземистый, лесистый Машук. Между горами, в долине плавают множество огней. Они взбираются на пригорки, исчезают в лесу, разбегаются по Горячей горе, уходят далеко-далеко к горизонту. Домов не видно, и кажется, что огни висят в воздухе. Это — город. Недалеко от Гаврилыча чернеет в сумраке ночи Тимофеева роща, что полукольцом охватила известковые печи и белые домики общежитий. Едва слышно лопочут листья, жалуясь на ночь, что упрятала солнце. Будоража тишину звуком сирены, пронесится электропоезд.

Мальчик вдруг зарычал и прижался к ногам старика. Гаврилыч прислушался. Кто-то идёт по направлению к заводу.

— Ну чего ты? Свои, дурашка. Молодёжь из города возвращается, — успокоил Гаврилыч Мальчика.

Мимо прошли Валентин и Вера Глобцева.

— Добрый вечер, — крикнул Валя.

— Какой там вечер, — махнул рукой Гаврилыч, — скоро рассветать будет.

И долго смотрел вслед растаявшей в темноте паре.

«Хороши, — подумал... — А ей же богу хороши! Валентин не больше года, как пришёл на завод, а уже бригадир комсомольско-молодёжной бригады садчиков. Его бригада всем сто очков вперёд даёт, переходящее Красное знамя завода держит. А потом его ещё и комсомольским секретарём избрали. Башковитый парень. Далёко пойдёт. Да и Вера...»

В это время донеслась песня:

Сколько раз с надеждой робкой  
Ждал тебя у дома я,  
Ты ж проходишь дальней тропкой,  
Словно незнакомая...

— Никак Костя идёт... Хорошо поёт, стервец.

Седугин подошёл к заводским ворогам, постоял несколько минут, словно раздумывая.

— Эх, — вздохнул Костя и сел на скамейку у ворот завода.

— Что? Скучаешь, Костя?

— Кто? — испугался Костя. — А, это вы, Гаврилыч...

Сторож присел рядом. Костя достал папиросы.

— Закури, Гаврилыч...

— Можно... А недавно Валентин с Верой прошли.

Костя вздрогнул, быстро глянул на Гаврилыча и снова опустил голову. Сторож ухмыльнулся и, сделав вид что не заметил взгляда Седугина, продолжал:

— Вижу я, «страдаешь» ты за Верой. И чего ты к ней пристаёшь?

— Откуда ты взял, что пристаю?

— Ты — тихо... Цыть!.. Всё вижу. Что знает ночной сторож, никто не знает.

— Люблю я её, Гаврилыч, — тихо проговорил Костя.

— А ты её спрашивал — любит ли она тебя?

— Не спрашивал.

Старик крякнул.

— Не спрашивал? И правильно сделал, что не спрашивал. Любить тебя не за что. За что же тебя любить? Жогарь ты, прямо скажу, никудышный... Ты сядь, сядь, не горячись... Мне скоро семьдесят, а тебе только за двадцать перевалило. Малость людей понимаю,

могу судить о них. Так что я всё тебе могу говорить, а твоё дело слушать, да вникать, умишком шевелить, что к чему. За то, что ты когда-то хорошо работал — тебе честь и хвала. Только то было когда-то... А теперь ты так себе. Ни то, ни сё... А любить человеку надо. Без любви человек, что птица с подрезанными крыльями. Взлететь хочет, а не может. Ты отрасти прежде те крылья, а уж потом летай...

Гаврилыч замолчал, бросил папиросу и притушил её ногой.

— Баловство одно — папиросы. Никакой крепости. Скручу-ка я из своего самосада, — и долго свёртывал цыгарку.

— Видишь, — указал на рощу, — Тимофеева роща. А почему Тимофеева? Не знаешь... То-то же... Был такой человек на заводе лет пятьдесят тому назад... Простой рабочий. Ну и сваливали мы в том месте, где теперь роща, шлак из известковой печи. Печь чистили, а туда всё свозили. Было — чуть ветер подует — нечем дышать. Кружит он эту пыль, несёт её. Хозяину что? Он в городе жил, ему о рабочих мало заботы. А тут ведь и дети маленькие. Из рабочих семей. Им-то какво дышать этой нечистью известковой?

Мальчик, лежавший калачиком у ног Гаврилыча, вдруг поднял голову и зарычал.

— Чего ты? Везде тихо. Ну, вот... О чём я? Ага. О детишках... Он, этот самый обыкновенный рабочий, посмотрит на них, худых, замурзанных. Вздохнёт: «Детишек мне жаль. Гляжу на них — сердце разрывается. Пусть мы уже отжили. А они? Им ведь жить надо... А они что? Отравляются. Им бы сейчас в лесок... Душу отдал бы, чтобы им помочь только». И решил этот Тимофеев, — фамилия того рабочего Тимофеев была, — деревья на месте свалки посадить. Смеялись над ним — пустая затея. Где это видано, чтобы на шлаке что-либо выросло? А он знай своё. Упрямый был человек. Нарыл канав на этом свалище, навозил в них земли хорошей. Посадил деревья. Ухаживает за ними. И стали его деревья расти. Видят люди, что хорошее дело делает человек — помогли ему. И вот теперь видишь какая роща здесь. Давно умер тот рабочий, а имя его живёт. Спрашивается, для чего трудился человек? Для счастья трудился. Из-за любви своей к людям трудился.

Помолчали.

— И вот возьми теперь эту самую Веру, лаборантку нашу,— тихо заговорил Гаврилыч. — Отца фашисты замучили, мать умерла от горя. Ты думаешь — ей легко было техникум закончить, звание лаборантки получить? Трудно. Вот потому и не привыкла она ничего легко брать, потому она и любви к себе требует большой, настоящей. Так-то оно, парень. Подумай над этим.

Ушёл Гаврилыч, а Костя долго ещё сидел один. Мысли беспорядочно толклись в голове. Вера, рассказ Гаврилыча, сегодняшнее собрание.

Вдруг вспомнился родной колхоз на реке Юце. Он, Костя, единственный сын у родителей. Окончил семилетку и сказал, что учиться дальше не будет, что пойдёт работать. Отец было воспротивился, но мать встала на сторону Кости.

Поработал в колхозе, потом пришёл на завод. Был подручным у Тарасова, — вот почему Иван Петрович и считает его своим учеником. А ещё через год послали на курсы жогарей. Всё было удивительно легко... Потом Вера приехала на завод. Не клеится у него с Верой. Может, она другого любит? Кого другого?

Стал перебирать заводских ребят. Вот разве... Их часто видят вместе — комсорга Валю Воронова и Веру.

Тяжело вздохнув, Костя закурил, медленно встал и пошёл в общежитие.

#### IV.

После собрания Акинфиев стал внимательно присматриваться к Седугину. Разболтался Костя за последнее время. Зазнался, наверное. Успехи вскружили голову, стал считать себя лучше всех. А никто во-время не одёрнул, не подсказал — на плохую

дорожку становится Костя. И в первую очередь виноват он, Акинфиев, секретарь партийной организации и начальник цеха.

Надо что-то делать, как-то помочь Косте. Начать с комсомола. Прежде всего поговорить с Валею Вороновым.

— Разговор у меня с тобой, Валя, серьёзный.

Воронов насторожился.

— О Седугине. Косте. Как у тебя с ним?

Валя пожал плечами.

— Как с ним? А что? Как и со всеми. Одинаково.

— А скажи, пожалуйста, какой общественной работой он занимается?

— Костя? Он... — Валя задумался и вдруг покраснел. — Никакой.

— Никакой? — удивился Акинфиев. — Сколько есть коммунистов в нашей партийной организации, я стараюсь, чтобы у каждого была какая-либо общественная работа. А как же так у тебя получается?

Валя мям в руках кепку, не находя что ответить.

— Так не годится, Валя. А Вера Глобцева?

— Она член редколлегии, агитатор, участвует в хоровом кружке, женский организатор среди...

— Хватит, хватит, — замахал руками Акинфиев. — Что же это такое? На одного комсомольца ты нагрузил столько, что он еле вывозит, а другой баклуши бьёт. Так не годится. Почему у тебя Седугин не имеет никакого поручения? Ты заметил, что Седугин стал брак давать, стал от коллектива откалываться?

— Брак... это действительно у него бывает.

— А что бы это значило, а? Комсомольский секретарь? Не знаешь? Тоже плохо. Портиться стал Седугин, зазнаваться — вот что это значит. Надо, Валя, найти в Косте хорошую черту, то, что он любит больше всего, чему, так сказать, всей душой отдаётся, и использовать это хорошее для общего доброго дела.

— Понял, Василий Матвеевич.

Стыд-то какой! Как же это Валентин проглядел Костю?.. Стыд стыдом, а исправлять ошибку надо. Стой! Ведь Костя здорово поёт. А почему он не в хоровом кружке?

Когда Валентин предложил Косте принять участие в хоре, тот недовольно буркнул:

— А чего я там не видал?

— Как чего? Ты бы посмотрел, сколько наших ребят и девчат там. Ты что, хуже всех?

— Не агитируй, — отрезал Костя, и вдруг сообразил, что на занятиях всегда сможет встретиться с Верой. — Ладно, секретарь, приду.

Когда Костя пришёл на занятия, все уже были в сборе.

— Антонина Ивановна, — Валентин схватил Костю за руку. — Вот тот, о ком я вам говорил.

— Костя заявился! — крикнул кто-то из ребят.

— Нашего полку прибыло!

Костя смутился. «Здесь ли Вера? Здесь!»

— Здравствуйте, — сказал Костя Антонине Ивановне.

— Добрый день, — ответила та. — Костя Седугин? Да? Очень рада. Ну, давайте попробуем, что вы можете... Протяните, пожалуйста: «А-а-а...»

И когда Костя, смущаясь и краснея исполнил её просьбу, Антонина Ивановна даже рассердилась:

— Ну, как же вам не стыдно было до сих пор не приходите к нам!

Ребята окружили их.

— Он у нас, знаете, как поёт!

— А ещё не хотел идти!

— Вы у нас будете запевать, Костя. Ну, ребята, становитесь... Все выучили слова? А вы, Седугин, знаете?

— Эту? — Костя посмотрел на нотный листок. — Знаю... По радио слышал...  
— Попробуйте запевать... Слушайте музыку.—Антонина Ивановна села за пианино.  
— Ну, начали...  
Костя неуверенно запел.  
«Мы нашей прекрасной страны молодёжь...»  
— Не так, — остановила Антонина Ивановна,— смелее, смелее надо... Ну, начнём сначала...  
...Расходились поздно, весёлые, возбуждённые, с шутками, с песнями.  
— Вера! — Костя хотел было остановить девушку, но она, словно не замечая его, бросилась вперёд.  
— Валя! — громко позвала она. — Подожди минутку! — И, взяв Валентина под руку, о чём-то с жаром начала говорить ему.  
Костя стоял, как громом прибитый. Эх, Вера, Вера... С Валь- кой ушла... Ну и пусть... Нет, не пусть! Почему же ты не меня взяла под руку? Неужели ты не видишь: всё готов отдать Костя ради тебя. Места себе нигде не найдёт Костя.

## V.

Жуков был сегодня не в духе. Стараясь больше заработать, он стал садить негабаритный камень. Заметивший это Акинфиев изумился.  
— Это ещё что за чертовщина? Ты что, Андрей, садить разучился, что ли?  
— От чёрт возьми! — удивлённо развёл руками Жуков. — Как он сюда попал, не знаю.  
— Ну-ка, быстро переделай... Да смотри мне...  
Акинфиев ушёл. «Кой чёрт переделывать! — думал Жуков.— Время есть у меня? А кто мне заплатит за это?»— и продолжал садить попрежнему. Через час, когда сделал две закладки, к Жукову снова заглянул Акинфиев.  
— Ну, как... — и не договорил.  
Жуков обмер. Чего-чего, а повторного прихода начальника цеха он не ожидал. Возмущению Акинфиева не было предела.  
— От работяга, — не удержался он, — словно дитя малое. Где лом? — заревел он вдруг.  
Жуков, ни слова не говоря, подал лом. Акинфиев заложил его в основание садки.  
— Василий Матвеевич, что вы? — заикнулся было Жуков, но Акинфиев крикнул, рванул лом и выбил несколько камней из основания садки. Она дрогнула и с глухим рокотом завалилась. Начальник цеха бросил лом.  
— Переделывай за свой счёт,— бросил он и, не глядя на садчика, ушёл. Лишь через несколько минут Жуков пришёл в себя. Ругаясь и кляня всё на свете, стал вывозить из печи камень, чтобы начать работу снова. Мало того, что пришлось переделать всё за свой счёт, ещё и очередная бригада, принимая смену, предупредила, что камень посажен плохо.  
«Ну и садите сами, — думал про себя Жуков, — а я уйду, совсем с завода уйду. Что же это такое! Садку завалили, пришлось переделывать. А в ней десять с половиной тонн камня. Попробуй переложить».  
На территории завода Жуков столкнулся с Костей. Второй день Седугин ходил словно в воду опущенный. Ни о чём не хотелось думать, всё валилось из рук.  
— Костя! — крикнул Жуков, делая вид, что обрадовался. — Как она, жизнь?  
— Да так,— махнул Костя рукой, и хотел было пройти мимо.  
— погоди, — схватил его за руку Жуков. — Чего ты, как мокрая курица? Зазноба сушит? Плюнь... Меня эти живоглоты не так сегодня подковали, да и то... Ну, знаешь что, пойдём с «прицепом» пропустим, а? Гляди и тоска-кручина развеется?

«Сегодня занятия кружка, — думал Костя, — Вера придёт. Как же я на неё буду смотреть после того разговора? Эх, не пойду я на кружок...»

— Ну, чего ты молчишь? — нетерпеливо проговорил Жуков. — Идешь, так идём, а нет, так я один пойду.

— Идём, чёрт с тобой, — согласился Костя.

— Давно бы так...

Прошло около двух часов. Они сидели в буфете изрядно выпив, когда сюда зашёл Акинфиев. Попросив папирос, он посмотрел в сторону Жукова и Седугина.

— А тебя, Костя, на занятия кружка ждали... Надеялись на тебя, а ты подвёл и товарищей и Антонину Ивановну, — и ушёл.

Костя рванулся было за ним, но Жуков, схватив его за плечо, усадил на место.

— Не горячись... Оно начальство, его дело говорить, а наше слушать. Мы не на работе и он нам не указ. Выдумали всякие садки. А зачем? Непонятно. План выполняли? Выполняли же! Какого ещё рожна надо? А меня интересует не садка, а заработок. Дай мне заработать — и всё. И не трогай меня — и я тебя не трону... Скала, скала, Костя, — Андрей поднял кверху палец, — и та под ветром рушится. А человек? Терпит, терпит да и согнётся... Вот, к примеру, семья... Жена, дети — это всё обуза мужчине, всё это ни к чему. Живи для себя, о себе думай, а всё остальное чепуха... Так жил мой отец и меня так учил... Только он, мой батька, женат был, а я вольный мужчина...

«Это как же жить?» — тяжело думал Костя, слушая Жукова. И ему почему-то вспомнился овсюг на колхозном поле.

— Жить, — разглагольствовал Жуков. — Ты ещё, Костя, глуп, ты не видал... Ты ничего не видал... Меня не любят. Тебя не любят. Почему? Потому что завидуют. Много зарабатываем.

Вдруг очень отчётливо встали в памяти Кости слова Акинфиева: «А ведь тебя там ждут, надеются...» А я... И стало Косте так противно смотреть на пьяное лицо Андрея.

— Как ты сказал? Люди завидуют? Кому? Тебе? Думаешь, если я пьян, мне всякую дрянь говорить можно?

Костя тяжело перевёл дыхание, голова кружилась.

— Ты пьян, Костя, перестань... Слышь, перестань, — забормотал перепуганный Жуков.

— Там... Вера, ребята... Ждут... А я ... С тобой...

— Да плюнь ты...

— Эх! — размахнулся Костя.

Кулак угодил в нос Жукова. Глухо охнув, Андрей полетел под стол. Зазвенела опрокинутая посуда, полетела на пол тарелка, закричал буфетчик, но Костя уже бежал к заводу. «Сейчас пойду в клуб... Сейчас всем, всем ребятам расскажу...»

Но двери клуба были уже заперты. «Так тебе и надо... Не подождали... Ну и чёрт с вами! Я и сам без вас проживу.»

Шумел камыш,  
Деревья гнулись,  
А ночка тёмная была, —

затянул Костя и, качаясь, поплёлся к общежитию.

У самых дверей лицом к лицу столкнулся с Верой.

— Вера, — рванулся к ней.

— Снова пьян, — брезгливо поморщилась девушка. — Эх, ты...

И перед самым Костиным носом захлопнула дверь общежития.

— Кто тут? Чего полуночицаешь. Марш спать! Тебе говорю...

— Иду, Гаврилыч, — покорно ответил Костя. — Всё равно...



## VI.

Седугин принимал смену от Тарасова. Тот, подымая крышки конфорок и проверяя, как обжигается известняк, говорил Косте:

— Десятую садку жгём. Колосниковую... Смотри, не подкачай.

— Ну, что вы, Иван Петрович, не знаете меня?

— Дело не в этом. Следи хорошенько за тягой. Если потребуется где, добавишь угля или мазута.

Сдав смену, Тарасов ушёл. Подымая конфорки и заглядывая в печь, Костя шёл по своду. Вот выбирают готовую известь. Мелькают силуэты людей, гремят тачки. Дальше остывает обожжённый известняк — он тёмновишнёвого цвета. Чем дальше идти, тем окраска обжигаемого камня становится ярче и ярче, и вот уже бушует пламя, и чтобы заглянуть в печь, надо смотреть со стороны, иначе обожжёт лицо. Дальше стоит заслонка и не пускает огонь вперёд: там, впереди огня, идёт садка. Костя заглянул в конфорку, куда опущена на кабеле электрическая лампа. Так же, как и при выгрузке, мелькают силуэты людей, гремят тачки. Сыплется топливо — мелкий уголь «семечко».

Подымая одну из конфорок, Костя вздрогнул. Поднял вторую, третью... В том месте, где шёл обжиг, верхний слой известняка был раскалён почти добела. Но внизу, под раскалённым слоем, чернело, клубилось дымное облако. «Что это? Холодный воздух?» — Костя почувствовал, что рубашка на спине моментально стала мокрой, пот выступил на лбу. «Откуда холодный воздух? Может, топлива надо?»

Он схватил шланг, пустил в конфорку толстую струю мазута и стал лихорадочно кидать лопатой уголь. Топливо быстро вспыхивало, верхний слой накалялся ещё больше, но внизу всё оставалось без перемен. «Пропадёт садка» — испуганно думал Костя. Седугин с ужасом понял: — он не знает, что произошло в печи.

Первой мыслью было: бежать за Тарасовым.

Но бежать за жогарем не пришлось. Перед тем, как лечь отдохнуть после ночного дежурства, Тарасов ещё раз решил заглянуть на печь. «Как там Костя орудует?» — подумал он. — «Всё ли у него в порядке?»

Не потому, что Иван Петрович не доверял своему ученику, — нет! Просто у него был такой беспокойный характер. Во всём хотелось лишний раз убедиться, проверить самому.

— Ну, как тут у тебя?

Костя вздрогнул от неожиданности и, глянув на Тарасова, махнул рукой.

— Что?! — забеспокоился Тарасов, и, заметив открытые конфорки, бросился к ним.

— Что же это ты, раздолбанное корыто, наделал?! Я же тебя предупредил за тягой смотреть! — он бросился к большим изогнутым трубам. —• Ведь третью тягу надо было поставить, голова садовая. Тяга у тебя зажата!

Словно осветило сознание Кости. Эх, растяпа! Как он мог забыть о тяге!

Пришёл Акинфиев, за ним, осторожно ступая, зашёл Гаврилыч.

— Что случилось?

— Да вот, Василий Матвеевич, Седугин дежурил, — сказал с горечью Тарасов, — натворил дел... Тонн двадцать недожёгу будет. А ещё мой ученик... — скривился жогарь, как от большой физической боли.

Костя медленно вытер лоб и отхлебнул из чайника тепловатой воды.

— Так, так, — вздохнул Гаврилыч, — порадовал... Высоко взлетел, да низко сел. Люди хорошее дело начали, а ты им ножку подставил. Ну, чего молчишь? Пить с Жуковым — это ты умеешь. Слюни распускать тоже умеешь: — «Почему, Гаврилыч, не любит она меня». А за что тебя, слюнтяя, любить? Дурак ты, Костя. Как есть дурак.

## VII.

Комсомольское собрание было необыкновенно бурным. Костя сидел, низко опустив голову, стыдясь посмотреть в глаза товарищам.

Говорила Вера:

— Видите ли, он стал лучшим жогарем на заводе. Ему никто не указ. У него, понимаете, дела поважнее. У него Жуков есть. Лучше с ним выпить.

Костя вздрогнул, словно от удара.

— Ну, это ты, Вера, слишком,— начал было Валентин.

— А чего слишком? — подхватила Надя.— Правду она говорит. А всё Седугин, да Седугин, а Седугин браку напорол. И правильно сделали, что в подручные перевели. Это ещё хорошо. А то вообще на подвозку камня надо было отправить.

— Тихо, товарищи, — поднялся комсорг. — Что Седугин виноват, то виноват. А почему мы о себе ничего не скажем? Где мы были, что его до этого допустили?

— Ну ты всех защищаешь, — послышался чей-то голос.

— Защищать его я не собираюсь. Но и мы проморгали, прохлопали. Думали — передовой, значит и спрос с него маленький. Ну, не пришёл на занятия, не имеет общественных нагрузок, ничего, мол, обойдётся и без него. Он у нас, мол, один такой на весь завод.

— Как же! Принимай вину на себя...

— Хочешь сказать, пожалуйста...

— А чего говорить! Не нужны нам такие комсомольцы, которые и ребят не уважают и поперёк дороги заводу становятся.

— Тебе Валентин, всё равно. Ты через несколько дней в техникум едешь, а нам с ним работать.

Костя ещё ниже нагнул голову, словно невидимая, но непосильная ноша навалилась ему на плечи. Где-то под потолком прожужжала муха, ударилась об оконное стекло, и оно тонко и протяжно зазвенело.

— Это неправильно, что мне всё равно, — тихо, но твёрдо сказал комсорг,— и техникум тут не причём. Отмахнуться от человека в беде, это... это всё равно, что убить его. Никчемные мы будем комсомольцы, если не поможем товарищу. Моё предложение - помочь Седугину наверстать упущенное. И я первый помогу. Хочешь, Костя? Вот моя рука.

## VIII.

Валентин и Вера медленно шли к железнодорожной станции. Плащ, перекинутый через руку, касался земли. Августовское солнце не скупилось на тепло, но уже чувствовалось приближение осени. На деревьях кое-где, среди густой зелени проглядывали то пожелтевшие, то огненно-красные листья. По ночам было сыро, всё чаще и чаще стелились беловатые туманы, сползали густой пеленой с гор в долину. Всё дальше задерживались они по утрам и рассеивались только тогда, когда солнце подымалось высоко.

Валентин уезжал в техникум. И Вале и Вере было и радостно и немножко грустно. Каждый из них чувствовал, что им хорошо быть вместе, но они ни слова не сказали об этом. Может быть,

стеснялись или проверяли — настоящее ли это, впервые вспыхнувшее, ещё не совсем понятное чувство? Может быть, берегли, вынашивали его, боясь растратить попусту?

Так и промолчали до самого отхода поезда.

— Ну, вот, я и поехал, — подходя к вагону, проговорил Валя.

Вера кивнула головой, прикусила нижнюю губу.

— Ты мне пиши чаще,— попросила она.

— Я тебе каждый день писать буду, а ты?  
— Ещё спрашиваешь...  
— Граждане, пра-ашу в вагон, — проходя мимо, монотонно проговорил проводник, — поезд отправляется.

— Ну, прощай,— протянул Валентин руку. Вера мгновенно смотрела на него, потом, поблуднев, вдруг поднялась на носки, схватила Валентина за лацканы пиджака, рывком притянула к себе и крепко поцеловала в губы.

И ни Валентин и ни Вера не видели Костю, который совершенно случайно стал свидетелем этого. В голове у Кости загудело, перед глазами запрыгали разноцветные круги. На перроне осталась одна Вера, а вдали стихали перестуки колёс ушедшего поезда.

Медленно подошёл Седугин к Вере.

— Уехал?

— Уехал, — тихо ответила девушка.

— Любишь его?

Вера резко повернулась к парню.

— Тебе какое дело?

— Ну, скажи, не мучай...

— Сам ты себя мучаешь. Хочешь знать? Люблю, Костя, люблю, так люблю, — и посмотрела на Седугина большими карими глазами.

Он словно впервые увидел их. Какой теплотой, какой любовью светились они, когда Вера говорила о Воронове.

— И вот уехал, — тихо сказала девушка, и глаза стали грустными, грустными.— Уехал.

Костя повернулся и опрометью бросился с вокзала.

— Седугин! Эй, Седугин! — Костя вздрогнул, оглянулся. К нему спешил Акинфиев.

— О чём это ты задумался? Зову, зову, не слышишь...

— Да так...— вздохнул Седугин.

— Наверно Валентина провожал? Он собирался сегодня уехать.

— Уже уехал.

— Хороший парень. Работы ему — непочатый край. Это хорошо, когда много работы. По себе чувствую. Крепну я от этого, расту, сил набираюсь, кажется мне, что всё могу. Так хочется крикнуть: «А ну, поддай ещё! Осилю!» И такая радость в душе, что петь хочется. Это очень хорошо, Костя, чувствовать себя на земле полезным, нужным человеком.

На заводе раскатисто и как-то торжественно заревел гудок.

— Слышишь? — остановился Акинфиев. — Гудит... Известь начали выбирать. Вот она, жизнь, Костя! Настоящая жизнь — это творчество, это всё время создавать что-то новое. Какое бы оно скромное ни было это новое, но раз оно новое—оно прекрасно. Ну, пойдём, посмотрим на результаты нашего труда?

Косте хотелось немного побыть одному, собраться с мыслями.

— Я, Василий Матвеевич, потом приду.

— Ну, как знаешь,— сказал Акинфиев и быстро зашагал к заводу.

— «Как она мне дорога,— думал Костя,— сколько я мечтал о ней и всё полетело к чёрту. Почему же так? Говорят — сердцу не прикажешь... А, может быть, не только сердце? Говорит Василий Матвеевич: хорошо чувствовать себя на земле полезным, нужным человеком. А какой я?»

Подходя к заводским воротам, Костя услышал голос Гаврилыча.

— Куда направляешься Жуков?

— Ухожу Гаврилыч...

— Куда?

— Разве мало места? Ухожу туда, где меня понимать будут, где ценят рабочего человека.

- Стало быть, уволили?
  - Рассчитался. По собственному желанию...
  - Напрасно так написали, надо было дать коленкой под... это самое место.
  - Ты что, рехнулся дед? Чего говоришь?
  - А то, что слышишь. Будут тебя держать на новом месте, пока не узнают, что ты за человек есть, а потом и там по шее дадут.
  - Так уж и дадут?
  - Дадут, дадут, пока не поймёшь ты, каким должен быть рабочий человек.
- Косте меньше всего хотелось сейчас встретиться с Андреем. Он быстро прошёл через проходную. А когда Андрей собрался его окликнуть, Седугин был уже далеко.